

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев

Рассказ Петра Петровича Б.
Старый лакей Филиппыч вошел, по обыкновению на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстуком, с крепко стиснутыми – «чтобы не отдавало духом» – губами, с седеньким хохолком на самой середине лба; вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо...

- Сам он тут? – спросила она.
- Чего изволите? – робко проговорил Филиппыч.
- Бестолковый! Тот, кто привез письмо, – тут?
- Тутот-ка, тутот-ка... В конторе сидит.

Бабушка погремела своими янтарными четками... [1]

- Вели ему явиться... А ты, сударь, – обратилась она ко мне, – сиди смирно.

Я и так не шевелился в своем уголку, на присвоенном мне табурете.

Бабушка держала меня в ежовых рукавицах!

Минут пять спустя вошел в комнату человек лет тридцати пяти, черноволосый, смуглый, с широкоскулым рябым лицом, крючковатым носом и густыми бровями, из-под которых спокойно и печально выглядывали небольшие серые глаза. Цвет этих глаз и выражение их не соответствовали восточному складу остального лица. Одет был вошедший человек в степенный, долгополый сюртук. Он остановился у самой двери и поклонился – одной головой.

- Твоя фамилия Бабурин? – спросила бабушка и тут же прибавила про себя: «I l'air d'un arménien» [2].
- Точно так-с, – отвечал тот глухим и ровным голосом. При первом слове бабушки: «твоя» – брови его слегка дрогнули. Уж не ожидал ли он, что она будет его «выкаты», говорить ему: вы?
- Ты русский? православный?
- Точно так-с.

Бабушка сняла очки и окинула Бабурина медлительным взглядом с головы до ног. Он не опустил глаз и только руки за спину заложил. Собственно, меня больше всего интересовала его борода: она была очень гладко выбрита, но таких синих щек и подбородка я отроду не видывал!

- Яков Петрович, – начала бабушка, – в письме своем очень тебя рекомендует, как человека «тверёзого» и трудолюбивого; однако отчего же ты от него отошел?
- Им, сударыня, в их хозяйстве другого качества люди нужны.
- Другого... качества? Этого я что-то не понимаю. – Бабушка снова погремела четками. – Яков Петрович мне пишет, что за тобою две странности водятся. Какие странности?

Бабурин легонько пожал плечами:

- Не могу знать, что им угодно было назвать странностями. Разве вот, что я... телесного наказания не допускаю.

Бабушка удивилась:

- Неужто ж Яков Петрович тебя наказывать хотел?

Темное лицо Бабурина покраснело до самых волос.

– Не так вы изволили понять меня, сударыня. Я имею правилом не употреблять телесного наказания... над крестьянами.

Бабушка удивилась больше прежнего, даже руки приподняла.

– А! – промолвила она наконец и, нагнувши голову несколько набок, еще раз пристально осмотрела Бабурина. – Это твое правило? Ну, это мне совершенно все равно; я тебя не в приказчики прочу, а в конторщики, в писцы. Почерк у тебя каков?

– Пишу я хорошо-с, без ошибок орфографических.

– И это мне все равно. Мне – главное, чтобы четко было, да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность?

Бабурин помялся на месте, кашлянул...

– Быть может, господин помещик изволил намекать на то, что я не один.

– Ты женат?

– Никак нет-с... но...

Бабушка нахмурилась.

– Со мной живет одно лицо... мужского пола... товарищ, убогий человек, с которым я не расстаюсь... вот уже, почитай, десятый год.

– Он твой родственник?

– Нет-с, не родственник – товарищ. Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может, – поспешил прибавить Бабурин, как бы предупреждая возражения. – Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате; скорей пользу он долён принести, так как грамоте он обучен, без лести сказать, в совершенстве и нравственность имеет примерную.

Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.

– Он на твоём иждивении живет?

– На моем-с.

– Ты его из милости содержишь?

– По справедливости... так как бедного человека обязанность есть – помогать другому бедному.

– Вот как! Впервые слышу. Я до сих пор полагала, что это скорей обязанность богатых людей.

– Для богатых, осмелюсь доложить, это занятие... а для нашего брата...

– Ну, довольно, довольно, хорошо, – перебила бабушка и, подумав немного, промолвила в нос, что всегда было дурным знаком: – А каких он лет, твой нахлебник?

– Моих лет-с.

– Твоих? Я полагала, он твой воспитанник.

– Никак нет-с; он мой товарищ – и притом...

– Довольно, – вторично перебила бабушка. – Ты, значит, филантроп[3]. Яков Петрович прав: в твоём звании – это странность большая. А теперь поговорим-ка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да вот еще насчет жалованья...

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
Que faites vous ici?[4] – прибавила вдруг бабушка, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо. – Allez étudier votre devoir de mythologie[5].

Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился – не изучать мифологию, а просто в сад.

Сад в бабушкином имении был очень стар и велик и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой лозняк; дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу вересковой и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пятнами загорались золотые шарики «куриной слепоты». Тут по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тут в летний зной стояла прохлада – и я любил забиваться в эту глушь и чашу, где у меня были фаворитные[6], потаенные местечки, известные – так, по крайней мере, я воображал! – только мне одному. Вышедши из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною «Швейцарией». Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до «Швейцарии», я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидел, что кто-то открыл ее кроме меня! Какая-то длинная-длинная фигура, в желтом фризовом балахоне и высоком картузе, стояла на самом облюбленном мною местечке! Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое, тоже предлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и презабавным носом: вытянутый, как стручок, он точно повис над пухлыми губками; и эти губки, изредка вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист, между тем как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, взгляделся еще внимательнее... Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнят и заставляют петать канареек. Сук хрустнул у меня под ногою; незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чашу и попятился было... да наткнулся на дерево, охнул и остановился.

Я вышел на полянку. Незнакомец улыбнулся.

– Здравствуйте, – промолвил я.

– Здравствуйте, барчук!

Мне не понравилось, что он меня назвал барчуком. Что за фамильярность!

– Что вы здесь делаете? – спросил я строго.

– А вот видите, – отвечал он, не переставая улыбаться. – Птичек на пение вызываю. – Он показал мне свои чашечки. – Зяблики отлично отвечают! Вас, по младости ваших лет, пение пернатых должно улащать беспрерывно! Извольте прислушать: я стану щебетать – а они за мною сейчас – как приятно!

Он начал тереть свои чашечки. Точно, зяблик отозвался на ближней рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом.

Смех этот и это подмигивание – каждое движение незнакомца, его шепелявый, слабый голос, выгнутые колени, худощавые руки, самый его картуз, его длинный балахон – все в нем дышало добродушием, чем-то невинным и забавным.

– Вы давно сюда приехали? – спросил я.

– А сегодня.

– Да вы не тот ли, о котором...

– Господин Бабурин с барыней говорил? Тот самый, тот самый.

– Вашего товарища Бабуриным зовут, а вас?

– А меня – Пуниным. Пунин моя фамилия; Пунин. Он Бабурин, а я Пунин. – Он опять зажужжал чашечками. – Слышите, слышите зяблика... Как заливается!

Мне этот чудак вдруг «ужасно» полюбился. Как почти все мальчики, я с чужими либо робел, либо важничал, а с этим я словно век был знаком.

– Пойдемте со мною, – сказал я ему: – я знаю местечко еще лучше этого; там есть скамейка: мы сесть можем, и плотина оттуда видна.

– Извольте, пойдемте, – отвечал нараспев мой новый приятель. Я пропустил его вперед. На ходу он переваливался, шмыгал ногами и затылок назад закидывал.

Я заметил, что у него сзади на балахоне, под воротником, болталась небольшая кисточка.

– Что это у вас такое висит? – спросил я.

– Где? – переспросил он и пощупал воротник рукою. – А! Эта кисточка? Пуцай ее! Значит, для красы пришита. Не мешает.

Я привел его к скамейке, сел; он поместился рядом.

– Здесь хорошо! – промолвил он и вздохнул глубоко-глубоко. – Ох, хорошохонько! Отличнейший у вас сад! Ох, ох-хо!

Я посмотрел на него сбоку.

– Какой у вас картуз! – невольно воскликнул я. – Покажите-ка!

– Извольте, барчук, извольте. – Он снял картуз; я протянул было руку, но поднял глаза и – так и прыснул. Пунин был совершенно лыс; ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей.

Он провел по нем ладонью и засмеялся тоже. Когда он смеялся, он словно захлебывался, раскрывал широко рот, закрывал глаза, а по лбу пробегали морщины снизу вверх, в три ряда, как волны.

– Что? – сказал он наконец. – Не правда ли, настоящее яйцо?

– Настоящее, настоящее яйцо! – подхватил я с восторгом. – И давно вы такие?

– Давно; а какие были волосы! Золотое руно, подобное тому, за которым аргонавты[7] переплывали морские пучины.

Хотя мне всего было двенадцать лет, однако я, по милости моих мифологических занятий, знал, кто были аргонавты; тем более удивился я, услышав это слово в устах человека, одетого чуть не в рубище.

– Вы, стало быть, учились мифологии? – спросил я, переворачивая в руках картуз, который оказался на вате, с меховым облезлым околышком и картонным надломанным козырьком.

– Изучал и этот предмет, барчучоночек мой миленький, в жизни моей всего было достаточно! А теперь возвратите-тка мне покрывку, ею же защищается нагота главы моей.

Он нахлобучил картуз и, перекосив свои беловатые брови, спросил меня: кто я, собственно, такой и кто мои родители?

– Я внук здешней помещицы, – отвечал я. – Я у ней один. Папа и мама умерли.

Пунин перекрестился:

– Царство им небесное! Значит: сирота; ну и наследник. Дворянская-то кровь сейчас видна; так в глазенках и бегают, так и играет... ж... ж... ж... ж... – Он представил пальцами, как играет кровь. – Ну, а не знаете ли, ваше благородие, поладил ли мой товарищ с бабенькой вашей, получил ли место, которое ему обещали?

– Этого я не знаю.

Пунин крикнул.

– Эх! кабы здесь пристроиться! хотя бы на время! А то странствуешь, странствуешь, приюта не обретается, тревоги житейские не прекращаются, душа сомущается...

– Скажите, – перебил я его, – вы – из духовного звания?

Пунин обернулся ко мне и прищурился.

– А какая сему вопросу причина, отроче мой любезный?

– Да вы так говорите – вот как в церкви читают.

– Что славянские-то речения я употребляю? Но это не должно вас удивлять. Положим, в обыкновенной беседе подобные речения не всегда уместны; но как только воспаришь духом – так сейчас и слог является возвышенный. Неужто же ваш учитель – преподаватель словесности российской – ведь вам ее преподают? – неужто же он вам этого не объясняет?

– Нет, не объясняет, – ответил я. – Когда мы в деревне живем – у меня и учителя нет. В Москве у меня много учителей.

– А долго ли вы в деревне проживать изволите?

– Месяца два, не больше; бабушка говорит, что я в деревне балуюсь. Гувернантка[8] со мной есть и тут.

– Французенка?

– Француженка.

Пунин почесал у себя за ухом.

– Сиречь, мамзель?

– Да; ее зовут мадмуазель фрикэ. – Мне вдруг показалось постыдным, что у меня, двенадцатилетнего мальчика, не гувернер[9], а гувернантка, точно у девочки! – Да я ее не слушаюсь, – прибавил я с пренебрежением. – Мне что!

Пунин покачал головою:

– Ох, дворянчики, дворянчики! полюбились вам иностранчики! От российского вы отклонились – на чужое преклонились, к иноземцам обратились...

– Что это? Вы стихами говорите? – спросил я.

– А вы как полагаете? Я могу завсегда, сколько угодно; потому сие мне природно...

Но в это самое мгновение раздался в саду, за нами, сильный и резкий свист. Собеседник мой проворно поднялся с лавки.

– Простите, барчук; это товарищ меня зовет, ищет меня... Что-то он мне скажет? простите, не взывайте...

Он юркнул в кусты и исчез; а я посидел еще на скамейке. Я чувствовал недоуменье и какое-то другое, довольно приятное чувство... я никогда еще не встречался и не говорил с таким человеком. Понемногу я размечтался... но вспомнил мифологию – и побрел домой.

...Дома я узнал, что бабушка сошлась с Бабуриным; ему отвели небольшую комнатку в людской избе, на конном дворе. Он тотчас поселился в ней с своим товарищем.

На другое утро я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель фрикэ, отправился

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
в людскую избу. Мне хотелось опять поболтать со вчерашним чудаком. Не постучавшись в дверь – этого обычая у нас и в заводе не было, – я прямо вошел в комнату. Я застал в ней не того, кого я искал, не Пунина, а покровителя его – филантропа Бабурина. Он стоял перед окном, без верхней одежды, широко растопыбив ноги, и тщательно вытирал себе голову и шею длинным полотенцем.

– Вам что угодно? – промолвил он, не опуская рук и насупив брови.

– Пунина нет дома? – спросил я самым развязным манером и не снимая шапки.

– Господина Пунина, Никандра Вавильча, в сию минуту точно нет дома, – отвечал не торопясь Бабурин, – но позвольте вам заметить, молодой человек: разве прилично – так, не спросясь, входить в чужую комнату?

Я!.. молодой человек!.. как он смеет! Я вспыхнул от гнева.

– Вы, должно быть, меня не знаете, – произнес я уже не развязно, а надменно, – я здешней барыни внук.

– Это мне все едино, – возразил Бабурин, снова принимаясь за полотенце. – Вы хоть и барский внук, а не имеете права входить в чужую комнату.

– Какая же она чужая? Что вы?! Я здесь – везде дома.

– Нет, извините, здесь дома – я; потому что комната эта назначена мне по условию – за мои труды...

– Не учите меня, пожалуйста, – перебил я его, – я лучше вас знаю, что...

– Вас надобно учить, – перебил он меня в свою очередь, – потому что вы в таком возрасте обретаетесь... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать таким образом со мною беседовать – то мне придется попросить вас отсюда выйти...

Неизвестно, чем бы кончилось наше препирание, если б в эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошел Пунин. Он, вероятно, догадался по выражению наших лиц, что между нами произошло что-то неладное, и тотчас обратился ко мне с самыми любезными изъявлениями радости.

– А, барчук! барчук! – воскликнул он, беспорядочно взмахивая руками и заливаясь своим беззвучным смехом. – Миленький! меня навестить пришел! пришел, миленький! («Что это? – подумал я. – Неужто же он мне „ты“ говорит?») Ну, пойдём, пойдём со мною в сад. Я там нечто такое нашёл... Что в духоте сидеть-то! пойдём.

Я последовал за Пуниным, однако на пороге двери почел за нужное обернуться и бросить вызывающий взор на Бабурина. Я, мол, тебя не боюсь!

Он ответил мне тем же и даже фукнул в полотенце – вероятно, для того, чтобы хорошенько дать мне почувствовать, до какой степени он меня презирает!

– Какой нахал ваш приятель! – сказал я Пунину, как только дверь затворилась за мною.

Пунин чуть не с испугом поворотил ко мне свое пухлое лицо.

– Это вы о ком так выражаетесь? – спросил он, выпуча глаза.

– Да, конечно, о нём... как вы его называете? об этом... Бабурине.

– О Парамоне Семеновиче?

– Ну да; вот об этом... черномазом.

– Э... э... э!.. – промолвил с ласковой укоризной Пунин. – Как это вы можете так говорить, барчук, барчук! Парамон Семеныч – человек достойнейший, строжайших правил, из ряду вон! Ну, конечно, – себя он в обиду не даст, потому – цену себе знает. Большими познаниями обладает сей человек – и не такое бы ему занимать место! С ним, мой миленький, надо обходиться вежливенько, ведь он... – тут Пунин

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
наклонился к самому моему уху, – республиканец!

Я уставился на Пунина. Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал, что существовали когда-то в древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами; но чтобы в действительности, в настоящее время, особенно в России, в ...ой губернии, могли находиться республиканцы – это сбивало все мои понятия, совершенно путало их!

– Да, мой миленький, да; Парамон Семеныч республиканец, – повторил Пунин; – вот вы и знайте вперед, как о таком человеке отзываться! А теперь пойдете в сад. Представьте, что я там нашел! Кукушкино яйцо в гнезде у горихвостки! Чудеса!

Я отправился в сад вместе с Пуниным; но мысленно все твердил: республиканец! рес... пу... бликанец!

«То-то, – решил я наконец, – у него такая синяя борода!»

Мои отношения к этим двум личностям – Пунину и Бабурину – определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, к которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его! Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мною исчезла прежняя резкая строгость. Нечего говорить, что я Пунин не боялся; я даже не уважал его, я считал его – говоря без обиняков – за шута; но полюбил я его всею душою! Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы – стало для меня истинным наслаждением. Бабушке очень не нравилась эта «intimité» [10] с человеком из «простецов» – «du commun»; но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадмуазель Фрикэ, которую бабушка отправила обратно в Москву в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану [11] на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин, с своей стороны, не тяготился продолжительными беседами с двенадцатилетним мальчиком; он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в пахучей тени, на сухой и гладкой траве, под навесом серебристых тополей, или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку обвалившегося берега, из которого, странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства, торчали узловатые корни! Пунин в подробности рассказал мне свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренне сочувствовал! Его отец был дьяконом; «чудесный был человек – однако под хмелем строг до беспамятства».

Сам Пунин учился в семинарии; но, не выдержав «поронций» [12] и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался мирянином, вследствие чего произошел все мытарства и стал наконец бродягой. «И не встретиться я с благодетелем моим Парамоном Семенычем, – прибавлял обыкновенно Пунин (он иначе не величал Бабурина), – погряз бы я в пучине бедствий, безобразия и пороков!» Пунин любил высокопарные выражения – и если не ко лжи, то к сочинительству и преувеличиванию поползновение имел сильное; всему-то он дивился, ото всего приходил в восторг... И я, в подражание ему, тоже пускался преувеличивать и восторгаться. «Да ты какой-то бесноватый стал – перекрестись, что ты это», – говаривала мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше даже его рассказов любил я чтения, которые он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынный или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина – в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Все вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы склоняют, укрывают нас от всего остального мира, никто не знает, где мы, что мы, – а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru происходит важное, великое, тайное дело... Пунин преимущественно придерживался стихов – звонких, многошумных стихов; душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, залихватом, закатисто, в нос, как опьяненный, как исступленный, как Пифия![13] И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки – не то молитвенно, не то повелительно... Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира[14] (чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу), но даже «Россиаду» Хераскова![15] И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила.

Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки и ноги холодели, как только оно упоминалось! «Да, – говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою, – Херасков – тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок – просто зашибет... Только держись!... Ты его постигнуть желаешь, а уж он – вон где! и трубит, трубит, аки кимвалон![16] Зато уж и имя ему дано! Одно слово: «Херррасков!!» Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиита[17]. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое; бабушка их даже не называла стихами, а «кантами»[18]; всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с гадливостью отвернуться от Пунина – он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, – либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием... Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты... даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стихика:

Вот вертётся толстый вал
И зубцами защёлкал...

Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцанья[19].

Увы! Все эти попытки, и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия – все покончилось разом. Как громовой удар, на нас внезапно обрушилась беда.

Бабушка во всем любила чистоту и порядок, ни дать ни взять тогдашние исполнительные генералы; в чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш. А потому от времени до времени в него «нагоняли» бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых[20] – и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и т. п. Вот однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам, мелькали белые, красные, сизые рубахи; всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев о косо поставленные сита. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял как будто нехотя. Это был очень еще молодой парень с испитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан[21], весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах.

– Кто это? – спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за нею следом.

– Вы... про кого... изволите... – залепетал было Филиппыч.

– О, дурак! Я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон, стоит – не работает.

– Этот-с! Да-с... Э... э.. это Ермил, Павла Афанасьевича покойного сынок.

Этот Павел Афанасьев был лет десять тому назад мажордомом[22] у бабушки и пользовался особенным ее расположением; но, внезапно впав в немилость, так же внезапно превратился в скотника, да и в скотниках не удержался, покатился

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
дальше, кубарем, очутился наконец в курной избе заглазной деревни на пуде муки
месячины[23] и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности.

– Ага! – промолвила бабушка. – яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что исподлобья смотрят, – не надобно.

Бабушка вернулась домой – и распорядилась. Часа через три Ермила, совершенно «снаряженного», привели под окно ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение[24]; за оградой, в нескольких шагах от него, виднелась крестьянская тележка, нагруженная его бедным скарбом. Такие были тогда времена! Ермил стоял без шапки, понурил голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления; тупая усмешка застыла на бесцветных губах; глаза, сухие и съёженные, глядели упорно в землю. Бабушке доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем, к окну кабинета и, приложив к переносице золотой двойной лорнет[25], посмотрела на нового ссыльного. В кабинете, кроме нее, находились в ту минуту четыре человека: дворецкий, Бабурин, дневальный казачок и я.

Бабушка качнула головою сверху вниз.

– Сударыня, – раздался вдруг хриплый, почти сдавленный голос. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснело... покраснело до темноты; под насупленными бровями появились маленькие, светлые, острые точки... не было сомнения: это он, это Бабурин произнес слово: «Сударыня!»

Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнет с Ермила на Бабурина.

– Кто тут... говорит? – произнесла она медленно... в нос. Бабурин слегка выступил вперед.

– Сударыня, – начал он, – это я... решился. Я полагал... Я осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно изволите поступать так... как вы сейчас поступить изволили.

– То есть? – повторила бабушка тем же голосом и не отводя лорнета.

– Я имею честь... – продолжал Бабурин отчетливо, хотя с видимым трудом выговаривая каждое слово, – я изъясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение... безо всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь к неудовольствиям... и к другим дурным – чего боже сохрани! – последствиям и суть не что иное, как превышение данной господам помещикам власти.

– Ты... где учился? – спросила бабушка после некоторого молчания и опустила лорнет.

Бабурин изумился.

– Чего изволите-с? – пробормотал он.

– Я спрашиваю тебя: где ты учился? Ты такие мудреные слова употребляешь.

– Я... воспитание мое... – начал было Бабурин.

Бабушка презрительно пожала плечом.

– Стало быть, – перебила она, – тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно все равно – в своих подданных я властна и никому за них не отвечаю, – только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые филантропы из разночинцев[26] не надобны; мне слуги надобны безответные. Так я до тебя жила и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься: ты уволен. Николай Антонов, – обратилась бабушка к дворецкому, – рассчитай этого человека; чтобы сегодня же к обеду его здесь не было. Слышишь? Не введи меня в гнев. Да и другого того... дурака-приживальщика с ним отправить... Чего ж Ермилка ждет? – прибавила она, снова глянув в окно. – Я его осмотрела. Ну, чего еще? – Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом она села на кресло и, обернувшись к нам,

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
промолвила угрюмо: – Ступайте все люди вон!

Все мы удалились – все, кроме казачка-дневального, к которому слова бабушки не относились, потому что он не был «человеком».

Приказ бабушки был исполнен в точности. К обеду и Бабурин и друг мой Пунин выехали из усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо детское отчаяние. Оно было так сильно, что заглушало даже то чувство благоговейного удивления, которое внушила мне смелая выходка республиканца Бабурина. После разговора с бабушкой он тотчас отправился к себе в комнату и начал укладываться. Меня он не удостоивал ни словом, ни взглядом, хотя я все время вертелся около него, то есть, в сущности, – около Пунина. Этот совсем потерялся – и тоже ничего не говорил, зато беспрестанно взглядывал на меня, и в глазах его стояли слезы... всё одни и те же слезы: они не проливались и не высыхали. Он не смел осуждать своего «благодетеля»: Парамон Семеныч не мог ни в чем ошибиться, но очень ему было томно и грустно. Мы с Пуниным попытались было прочесть на прощание нечто из «Россиады»; мы даже заперлись для этого в чулан – нечего было думать идти в сад, но на первом же стихе запнулись оба, и я разревелся, как теленок, несмотря на мои двенадцать лет и претензии быть большим. Уже сидя в тарантасе, Бабурин обратился наконец ко мне и, несколько смягчив обычную строгость своего лица, промолвил: «Урок вам, молодой господин; помните нынешнее происшествие и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный... Смотрите, берегитесь: этак ведь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду... буду помнить, что обещаюсь... сделаю... непременно... непременно...

Но тут на Пунина, с которым мы перед тем раз двадцать обнялись (мои щеки горели от прикосновения его небритой бороды, и весь я был пропитан его запахом), – тут на Пунина нашло внезапное исступление! Он вскочил на сиденье тарантаса, поднял обе руки кверху и начал громовым голосом (откуда он у него взялся!) декламировать известное переложение Давидова псалма Державиным[27], пиитой на этот раз – а не царедворцем:

Восстань, всесильный бог! Да судит
Земных богов во сонме их!..
Доколь вам, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть сохранять законы...
– Сядь! – сказал ему Бабурин.

Пунин сел, но продолжал:

Ваш долг – спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров.
От сильных защищать бессильных...
Пунин при слове «сильных» указал пальцем на барский дом, а потом ткнул им в спину сидевшего на козлах кучера:

Исторгнуть бедных из оков!
Не внемлют! Видят и не знают...
Прибежавший из барского дома Николай Антонов закричал во все горло кучеру:
«Пошел! ворона! пошел, не зевай!» – и тарантас покатился. Только издали еще слышалось:

Воскресни, боже, боже правый!..
Приди, суди, карай лукавых –
И будь один царем земли!
– Экой паяц! – заметил Николай Антонов.

– Недостаточно пороли в юности, – доложил появившийся на крылечке дьякон. Он приходил осведомиться, в котором часу угодно барыне назначить всенощную.

В тот же день, узнав, что Ермил находится еще на деревне и только на другое утро рано препровождается в город для исполнения известных законных формальностей, которые, имея целью ограничить произвол помещиков, служили только источником добавочных доходов для предержавших властей, – в тот же день я отыскал его и, за

Пунин и Бабурин. Иван Сергеевич Тургенев turgenevivan.ru
неимением собственных денег, вручил ему узелок, в который увязал два носовых платка, пару стоптанных башмаков, гребенку, старую ночную рубашку и совсем новенький шелковый галстук. Ермил, которого мне пришлось разбудить – он лежал на задворке, возле телеги, на охапке соломы, – Ермил довольно равнодушно, не без некоторого даже колебания принял мой подарок, не поблагодарил меня, тут же уткнул голову в солому и снова заснул. Я ушел от него несколько разочарованный. Я воображал, что он изумится и возрадуется моему посещению, увидит в нем залог моих будущих великодушных намерений, – и вместо того...

«Эти люди – что ни говори – бесчувственны», – думалось мне на обратном пути.

Бабушка, которая почему-то оставляла меня в покое весь этот памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я стал после ужина с ней прощаться.

– У вас глаза красны, – заметила она мне по-французски, – и от вас избою пахнет. Не буду входить в разбирательство ваших чувств и ваших занятий – я не желала бы быть вынужденной наказывать вас, но надеюсь, что вы оставите все ваши глупости и будете снова вести себя, как прилично благородному мальчику. Впрочем, мы теперь скоро вернемся в Москву, и я возьму для вас гувернера – так как я вижу, чтобы справиться с вами, нужна мужская рука. Ступайте.

Мы действительно скоро вернулись в Москву.

Париж, 1874 г.

Примечания

1

Чётки – нанизанные на шнурок бусы, употреблявшиеся для отсчитывания прочитанных молитв.

2

«Il a l'air d'un arménien» (фр.) – «Он похож на армянина».

3

Филантроп – благотворитель, человек, помогающий бедным.

4

Que faites vous ici? (фр.) – Что вы здесь делаете?

5

Allez étudier votre devoir de mythologie (фр.). – Идите займитесь вашим сочинением по мифологии.

6

Фаворитные места – любимые, излюбленные места.

7

Аргонавты. – В древнегреческом мифе об аргонавтах рассказывалось о походе величайших героев Греции во главе с Язоном к берегам Колхиды. Аргонавты, названные так по имени их корабля «Арго», должны были добыть в Колхиде золотое руно священного барана, которое приносило счастье той стране, где оно находилось.

8

Гувернантка – воспитательница. В дворянских семьях принято было брать иностранцев для воспитания детей.

9

Гувернёр – воспитатель, живущий в барском доме.

10

«Intimité» (фр.) – «душевная близость».

11

Штабс-капитан – офицерский чин в царской армии, предшествовавший чину капитана.

12

«Поронция» – порка, наказание розгами (слово, придуманное семинаристами и образованное наподобие латинского слова).

13

Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах (Дельфийского оракула). Пифия в полубессознательном, исступленном состоянии выкрикивала бессвязные слова, по которым особый жрец составлял предсказания.

14

Ломоносов М. В. (1711–1765) – великий русский ученый и поэт, автор торжественных стихотворений – од. Сумароков А. П. (1718–1777) – русский поэт, писатель и драматург, прославившийся в XVIII веке своими трагедиями. Кантемир А. Д. (1708–1744) – русский поэт-сатирик.

15

«Россиада» Хераскова – героическая поэма, воспевавшая покорение Казанского царства Иваном IV; автором ее был поэт М.М. Херасков (1733 – 1807).

16

Аки кимвалон – как кимвал (кимвал – древний музыкальный инструмент, состоявший из двух металлических чаш; когда ими ударяли друг о друга, то они издавали сильный звенящий звук).

17

Державин Г. Р. (1743–1816) – известный русский поэт. Говоря, что Державин «более царедворец, нежели пиита» (поэт), Пунин имел в виду его торжественно-хвалебные стихотворения, посвященные Екатерине II и ее приближенным; однако Державин был автором многих стихотворений, проникнутых духом независимости и обличения.

18

Канты – название торжественных стихотворений, предназначавшихся для пения. Сочинение их было распространено в семинариях.

19

Лирное бряцанье – старинное выражение, употреблявшееся в смысле: поэтическое творчество. Происходит от обычая древнегреческих поэтов-певцов аккомпанировать своему пению на струнном музыкальном инструменте – лире.

20

Бестягольные мужики – освобожденные от тягла – обязательной барщинной или оброчной повинности. Бестягольными обычно бывали калеки, бобыли и старики после 60 лет; заштатные дворовые – слуги, не имевшие из-за болезни или старости постоянных обязанностей по дому; опальные – навлекшие на себя немилость, опалу барина.

21

Нанковый кафтан – сделанный из нанки, бумажной ткани, обычно желтого цвета. Название ткани происходило от города Нанкина в Китае, откуда ее издавна

вывозили.

22

Мажордóm – в богатых помещичьих домах старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и остальными слугами; то же, что дворецкий.

23

Заглазная деревня – деревня, в которой помещик не жил, получая доход с нее через старосту или бурмистра. Месячина – продукты, выдававшиеся ежемесячно дворовым, месячный паек.

24

Отправлялся на поселение. – Помещики имели право ссылать провинившихся крепостных в Сибирь; это и называлось «сослать на поселение».

25

Лорнет – складные очки с ручкой.

26

Разночинцы – недворяне, люди «разных чинов», выходцы из крестьянства, мещанства или духовенства.

27 Переложение Давидова псалма Державиным. – Гневно-обличительное стихотворение Державина «Властителям и судиям» было им написано на основе одного из библейских песнопений – псалмов, приписывавшихся древнееврейскому царю Давиду.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!